

М. Хайдеггер
Творческий ландшафт:
Почему мы остаемся в провинции?

На крутом склоне широкой высокогорной долины в южном Шварцвальде, на высоте 1150 метров над уровнем моря, стоит хижина – небольшой лыжный домик. Его площадь 6 на 7 кв. метров. Крыша низко опускается над тремя помещениями – кухней спальней и кельей-кабинетом. По узенькому дну долины и по точно таким же крутым склонам гор разбросаны крестьянские подворья с огромными, низко нависшими над ними крышами. Луга и пастбища тянутся вверх по склону до самого леса с его высокими, темными, старыми елями. А над всем этим стоит ясное летнее небо, в сияющие просторы которого широкими кругами взмывают два ястреба.

Вот мой мир – мир, в котором я тружусь, если смотреть на него созерцательным взором гостя и отпускника. Я же, собственно, никогда не рассматриваю это как ландшафт. Я постигаю его в опыте жизни: ежечасно, денно и ночью плавает он в великих волнах времен года. Тяжесть гор, крепость ее первобытных пород, задумчивый рост елей, светлая безыскусная роскошь цветущих горных лугов, шум ручья, бегущего по камням бескрайней осенней ночью, суровая простота занесенных снегом равнин – все это теснит и торопит одно другое, ведет свою ноту сквозь каждодневность существования там, вверху, в горах.

И все это опять же не в особо избранные мгновения сознательного сосредоточения, нарочитого вчувствования, а только тогда, когда свое собственное существование – внутри своего труда, в нем. Только труд разверзает просторы, в какие вступит действительность этих гор. Черета трудов до конца погружена в ландшафт, в его совершающееся пребывание.

Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все, скрывая от глаз, вот когда наступает время торжествовать философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и существенно. Всякая мысль должна прорабатываться сурово и отчетливо. Тогда опечатлется труд мысли в языке – все равно как ели, высясь, противостоят буре.

И эта философская работа протекает не как сторонние занятия чудака, засевшего в своем углу. Самое место ей – среди крестьянских трудов. Молодой хозяин с великими усилиями затаскивает по склону горы тяжелые розвальни, чтобы, загрузив их буковыми поленьями, направить в опасный путь назад к своему двору; пастух медленно, раздумчиво бредет, гоня стадо вверх по склону горы; крестьянин, сидя в своей комнате, заготавливает в бесчисленном количестве, по всем правилам искусства, кровельную дрань для крыши своего подворья, - и мой труд точно таков. В этом торжестве коренится непосредственная принадлежность его крестьянам. Горожанин думает, что идет «в народ», когда нисходит до длинного разговора с крестьянином. Когда же у меня бывает перерыв в работе и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем. Мы курим трубки молча. Время от времени кто-то, бывает, и вымолвит слово – про то, что рубка леса подходит на этот год к концу, что прошлой ночью куница забралась в курятник, что хозяина двора Эмми разбил паралич, что завтра пора отелиться корове, что дело идет к перемене погоды. Глубокая принадлежность собственного труда к Шварцвальду и к людям Шварцвальда проистекает из вековой алеманнско-швабской самобытности, и это не заменить ничем.

Горожанин, побывав, как говорится, в деревне, в лучшем случае «загорится». Мой же труд от начала и до конца несут и направляют эти горы, эти крестьяне. Порой труд в горах приходится надолго прерывать, - там, внизу, надо преподавать, надо вести переговоры, писать отзывы, разъезжать с докладами. Но как только я возвращаюсь наверх, в первые же часы весь мир прежних вопросов вновь со всех сторон обступает меня в домике, и при этом в тех же самых словесных впечатлениях, в которых я оставил его. Меня просто-напросто переносит в труд с его особым ритмом колебаний, и, в сущности, я вовсе не управляю его сокровенным законом. Жители города дивятся – как можно так долго оставаться одному среди однообразия крестьянской жизни. Однако я тут не в одиночестве – я в уединении. В больших городах легко оставаться одному – легко как едва ли еще где. А жить уединенно там нельзя. Ибо первозданная сила присуща уединению – оно не обособляет, не разъединяет, но все существование твое здесь круто обрушивает в самую широту близости и сущности всех вещей. Там далеко, за горами, не успеешь и оглянуться, как сделаешься «знаменитостью» - благодаря газетам и журналам. Самый надежный путь к тому, чтобы наисокровеннейшее волнение твое было предано лжеистолкованию, а с тем и скорому, основательному забвению.

Напротив, крестьянская память отмечена верностью – простой, надежной, неослабной. Недавно тут умирала старуха-крестьянка. Она любила поговорить со мной и в разговоре припоминала старые деревенские истории. Ее образный, выразительный язык еще сохранял множество старинных слов, немало изречений, успевших забыться в живом языке и ставших непонятными деревенской молодежи. Еще в прошлом году, когда я целым неделям жил в домике один, эта старуха в свои 83 года не раз поднималась ко мне в домик по крутому склону. Хочется взглянуть, говорила она, тут ли я и не забрал ли меня паче чаяния «тот». Ночь перед смертью она провела, разговаривая с близкими. И еще за полтора часа до кончины наказала им передать привет «господину профессору». Такая память значит несравненно больше, чем самый ловкий репортаж о так называемой моей философии в интернациональном органе печати.

Мир горожан рискует впасть в очередную ересь. Часто кажется, что заботу о крестьянах взяла на себя навязчивость – нарочито шумная и деловитая. Однако таким путем как раз отрекаются от того, что сейчас единственно необходимо – отступить и держаться на расстоянии от крестьянского бытия, более чем когда-либо предоставив его собственному закону; руки прочь – чтобы не втянуть это бытие в лживое многословие журналистов, строчащих о народе и его самобытном существовании. Крестьянину вовсе не нужна эта возня горожан вокруг него – он и не хочет ее. А вот что ему нужно и чего он хочет, так это осторожного такта в отношении его бытия со всем его своеобразием. Но сколь многие из горожан, не в последнюю очередь лыжники, в селе, на крестьянском дворе ведут себя так, как будто они «развлекаются» у себя дома, в городе, в своих столичных дворцах! Подобная суeta за один только день напортит больше, чем наладят за целые десятилетия научно-этнографические наставления относительно народности и ее обычаев.

Бросим же снисходительные заискивания и фальшивые игры в народность – и давайте научимся со всей серьезностью относиться к простой и тяжелой жизни там, на горах. И тогда она вновь заговорит для нас.

Недавно меня вторично пригласили в Берлинский университет. В таких случаях я уезжаю из города в свой уединенный домик. И слушаю, что скажут мне горы, и леса, и крестьянские усадьбы. Я иду к своему старинному, семидесятипятилетнему крестьянину. Он уже читал в газете, что меня зовут в

Берлин. Что он скажет мне? Он не спеша поворачивается в мою сторону и своими ясными глазами всматривается в мои глаза, его губы плотно сжаты, он кладет мне на плечо свою верную руку и... чуть заметно покачивает головой. И это значит: безоговорочное нет!